

© С. А. Кибальник

ГАЗДАНОВ И ШЕСТОВ

Изучение творчества Гайто Газданова в контексте экзистенциальной традиции, хотя и началось совсем недавно, ведется довольно интенсивно. Однако принадлежность писателя к этой традиции несколько преувеличивается, на пересмотр же ее Газдановым почти не обращают внимания. Эта aberrация связана с другой: имеется существенный крен в сторону сопоставлений с литературой и мыслью ев-

ропейского экзистенциализма.¹ Между тем для выявления философско-литературных основ экзистенциального сознания у раннего Газданова оказываются важны и русские параллели.

Особое место в этом смысле принадлежит книге Льва Шестова «На весах Иова»: собственно, она и инициировала появление экзистенциальных мотивов в ранних произведениях Газданова, да и вообще стала одним из основных, до сих пор еще недооцененных источников экзистенциального сознания в литературе Русского Зарубежья. Связано творчество Газданова и с некоторыми другими сочинениями Шестова.² Кроме того, оно напрямую соотносится с произведениями таких предшественников философии существования, как Достоевский и поздний Толстой.³

Из литературы западноевропейского экзистенциализма творчество Газданова 1920—1930-х годов, как правило, сопоставлялось с произведениями А. Камю.⁴ Подобные сопоставления, разумеется, могут иметь только типологическое значение. Нередко писали о параллелизме творческих путей Газданова и Камю и о влиянии последнего на русского писателя. Однако если первое, хотя и с известной долей условности, по-видимому, действительно имеет место, то второе весьма проблематично. Если у Газданова все же имеются реминисценции из Камю, то они введены с полемической целью.⁵

Многие из сделанных до настоящего времени сближений раннего Газданова с Камю, безусловно, любопытны, однако некоторые из них все же представляются не вполне правомерными. Так, например, С. Г. Семенова — исследовательница, которой принадлежит особая роль в изучении экзистенциальных мотивов литературы Русского Зарубежья,⁶ — в ряде случаев существенным образом переакцентирует произведения Газданова. Об автобиографическом герое «Вечера у Клэр» Николае Соседове исследовательница пишет: «Почти как будущий Мёрсо из „Чужого“ Камю, он проходит *посторонним* всему, что наблюдает вокруг, — точнее, он будто лишен обычной иерархии интереса к миру: люди, их страдания, ужасы войны мало его касаются, зато какие-то боковые, окраинные вещи, войдя в случайный резонанс с его внутренним состоянием, становятся для него волнующим событием: „Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги... или в темноте... крик неизвестного животного“».⁷

¹ См., например: *Мартынов А. В.* 1) Газданов и Камю // Возвращение Гайто Газданова. Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения. 4—5 декабря 1998 г. М., 2000. С. 67—80; 2) Газданов и Ницше // Газданов и мировая литература: Сб. статей. Калининград, 2000. С. 67—80; *Красавченко Т. Н.* Газданов-экзистенциалист. Два рассказа и фрагмент из архива в Гарварде // Возвращение Гайто Газданова. С. 239—270; *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский) // Вопросы литературы. 2000. Май—Июнь. С. 67—106 (под заглавием «Путешествие по „беспощадному существованию“ (Гайто Газданов)» перепечатано в кн.: *Семенова С.* Русская поэзия и проза 1920—1930-х годов. М.: Наследие, 2001. С. 529—545).

² Помимо отдельных работ Шестова, о которых пойдет речь ниже, это в особенности касается его книги «Власть ключей» (впервые: Берлин, 1923), в которой намечены некоторые идеи, развитые в «На весах Иова». См., например: *Шестов Л.* Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 93, 148, 153, 263. Следует иметь в виду также и то, что основной пафос философии Шестова, сложившийся в начале 1900-х годов, одухотворяет все его книги, начиная с «Достоевского и Ницше» (впервые: СПб., 1903).

³ См. об этом: *Кибальник С. А.* Гайто Газданов и экзистенциальное сознание в литературе Русского Зарубежья // Русская литература. 2003. № 4. С. 53—55, 57, 69—70, 53.

⁴ *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 67—106.

⁵ См.: *Кибальник С. А.* Указ. соч. С. 66—67.

⁶ Кроме вышеуказанных, см. также статью С. Семеновой «Два типа экзистенциального сознания. Проза Г. Иванова и Владимира Набокова-Сирина» (Новый мир. 1999. № 9. С. 180—205).

⁷ *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 81.

Видимо, ощущая спорность этого сближения, исследовательница высказала его с существенными оговорками. Действительно, отмеченная особенность — скорее обычная черта писательского сознания, в особенности писателя послепрустовского поколения.⁸

Ничуть не более правомерным представляется сближение с тем же Мёрсо одного из героев второго романа Газданова Артура: «...еще один эпизод „Истории одного путешествия“, связанный с близким Володе персонажем, англичанином Артуром, заставляет вспомнить странного убийцу из романа Камю, застрелившего на пляже араба, просто так — *из-за солнца*. Артур после случайной вечеринки у Одетт, где он слышит свою собственную романтическую историю с проституткой Викторией из пошлых, насмешливых уст заезжего доктора Штука, на одной из парижских ночных улиц, движимый захватившим его „непреодолимым чувством убийства“, своими сильными руками боксера и пианиста душит до смерти этого лоснящегося венского специалиста по женским болезням и сердцам. И никакого раскаяния, жалости, каких-либо метафизических страданий...»⁹

Однако перед этим Артур говорит Штоку: «Вы знаете, что вы мерзавец?»,¹⁰ и, следовательно, его отношение к своей жертве не имеет ничего общего с безразличием Мёрсо. Вспыхнувшее в нем «непреодолимое чувство убийства» (1, 232), природу которого сам Артур пытается постигнуть позднее, возникает у него отнюдь не на пустом месте. Однако его источник снова отнюдь не экзистенциальное безразличие Мёрсо, с которым его связывает исследовательница: «„Ничто, ничто не имело значения...“ (...) Вот, наверное, лучшее объяснение и для Артура, бесследно для других и для себя убиравшего из жизни просто неприятного человека, — *это не имеет значения*».¹¹ А вот что сказано об этом в романе: «Ни одной секунды Артур не жалел доктора — доктор не заслуживал лучшей участи, это было бесспорно и несомненно. Но все же откуда появилось это непреодолимое чувство убийства, откуда возникло это ощущение тяжелеющих рук и сжимающегося горла — и когда он знал уже нечто похожее?» (1, 232). И это скорее намек на генетическую предрасположенность Артура к убийству, связанную со сквозной в этом романе темой метемпсихоза, или переселения душ, и уж во всяком случае никак не на экзистенциальное безразличие.

Говоря об «экзистенциальном пробуждении» Федорченко из романа «Ночные дороги», исследовательница сама не в силах пройти мимо его очевидной пародийности: «Несмотря на некоторую пародийность этого экзистенциального пробуждения, прежде всего в силу „его чудовищного душевного опоздания“ и уплотненной стремительности, убившей Федорченко, в нем для автора все же проступил наконец такой тип человека, который „всегда интересовал меня“...»¹² Стоит только добавить, что герой-рассказчик на протяжении всего романа последовательно отговаривает Федорченко от настойчивого обращения к последним вопросам бытия, и через эту сюжетную линию вскрывается губительность современных идей, в частности ницшеанства, для неподготовленного сознания.

Характерно, что, провозглашая роман «историей нескольких смертей», С. Г. Семенова договаривается даже до прямого искажения его содержания: «Умирает от чохотки молодая, изумительно физически красивая, но, увы, ограниченная и ане-

⁸ Заслуживают внимания также сопоставления «Вечера у Клэр» с творчеством Л. Н. Толстого, сделанные в докладе А. И. Чагина «Газданов на перекрестке культур» на посвященной 100-летию со дня рождения Газданова конференции ИМЛИ РАН.

⁹ Семенова С. Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 85.

¹⁰ Газданов Гайто. Собр. соч.: В 3 т. М., 1996. Т. 1. С. 228. Далее ссылки на это издание даются в тексте (том, страница).

¹¹ Семенова С. Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 86.

¹² Там же. С. 90.

мичная Алиса...»¹³ Однако Алиса вовсе не умирает: «Она медленно поправлялась и через некоторое время уже начала выходить на улицу. Но здоровье не вернулось к ней в полной мере; она ни на что, собственно, не жаловалась и чувствовала себя, в общем, неплохо, но быстро уставала, ела без особенного аппетита, но очень крепко спала» (1, 634). Последовательное усиление самой исследовательницей экзистенциальной ноты газдановских романов как нельзя лучше выразилось в этой ее отнюдь не случайной обмолвке.

В действительности, даже в раннем творчестве Газданова полное принятие экзистенциальной позиции встречается нечасто,¹⁴ а сам удельный вес этой темы не так уж велик. В сущности, как основная она представлена лишь в рассказах «Преобразование» (1928) и «Черные лебеди» (1930). Герой первого из них Филипп Аполлонович в результате ранения на дуэли не умер, а лишь преждевременно состарился. Однако впечатление от собственной смерти, которую он ощущал как свершившуюся (как и рассказчик «Возвращения Будды»; ср. 2, 125), заставляет Филиппа Аполлоновича превозносить ее власть как «лучшую, какую он знает», и сожалеть о своем возвращении к жизни (см.: 3, 89—90). Нетрудно заметить, что содержание этого рассказа навеяно Шестовым, усматривавшим, например, смысл «всего, что написано Толстым после „Анны Карениной“», в том, что «только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни», а о творчестве таких писателей, как Гоголь, замечавшим: «Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть».¹⁵

Еще в большей мере это относится к рассказу «Черные лебеди», в котором есть прямые реминисценции из книги «На весах Иова». Его герой Павлов называет Достоевского «мерзавцем», «истерическим субъектом, считавшим себя гениальным, мелочным, как женщина, лгуном и картежником на чужой счет» (3, 138). Шестов развивал эту мысль в своей книге «На весах Иова», где, в частности, цитируется письмо Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому, в котором приведены малодостоверные сведения о растлении Достоевским малолетних: «Лица, наиболее на него (Достоевского. — С. К.) похожие, — это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов и Ставрогин. (...) В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости» (с. 100).¹⁶

Мысль эта развивается в книге довольно подробно. Так, процитировав «Дневник писателя», Шестов вопрошает: «Неужели вы не узнаете знакомого голоса? И продолжаете думать, что подпольный человек — сам по себе, а Достоевский — сам по себе?» (с. 62). В другом месте Шестов настаивает на автобиографичности

¹³ Там же. С. 89.

¹⁴ Показательно, что сама С. Г. Семенова сопровождает свои сближения романов Газданова с экзистенциальной литературой некоторыми существенными оговорками: «Но всякое приближение к конкретному человеку... узрение его единственного, неповторимого лица, искаженного знакомой болью, меняет перспективу авторской оценки в сторону сочувствия, душевного сострадания и солидарности» (Там же. С. 91).

¹⁵ Цит. по: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). Paris: Ymca-Press, 1975. С. 49, 103—104 (далее ссылки на это издание даются в тексте). Нельзя при этом сбрасывать со счетов непосредственное влияние на Газданова позднего Толстого. Ср. хотя бы финал «Смерти Ивана Ильича»: «Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1933. Т. 26. С. 98).

¹⁶ Знакомство писателя с таким представлением Шестова о личности Достоевского, восходящее к тем же малодостоверным свидетельствам Н. Н. Страхова, обнаруживает поздняя статья Газданова «О Чехове»: «...по словам Страхова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым...» (Газданов Г. О Чехове // Вопросы литературы. 1993. Вып. 3. С. 315; впервые: Новый журнал (Нью-Йорк). 1964. Т. 76). Ср. ссылку на это же свидетельство Страхова в письме Газданова к Г. В. Адамовичу (см.: Серков А. И. О дружбе двух писателей // Возвращение Гайто Газданова. С. 297).

практически всех персонажей Достоевского, как положительных, так и отрицательных: «...и Мышкин, и Рогожин, и все остальные — не люди, а маски: Достоевский никогда людей не изображал. Но под масками вы видите одного, настоящего, живого человека — самого автора...» (с. 65).

Автобиографично в истолковании Шестова и творчество Гоголя: «Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не „они“, не другие, которых нужно было бы „поднять“ до себя. Он сам сказал нам — и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда — что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях „Ревизора“ и „Мертвых душ“» (с. 49). Аналогичным образом Толстой уравнивается с героями его «Записок сумасшедшего» и «Отца Сергия» (с. 99, 117). В сущности, все писатели, по мнению Шестова, наиболее полно воплотили себя в вымышленных героях своих произведений: «И Гоголь не в „авторской исповеди“ — а в „Мертвых душах“. То же можно обо всех писателях сказать» (с. 106).

Ощущению бессмысленности жизни и вытекающему из него стремлению к смерти герой-рассказчик «Черных лебедей» не может противопоставить ничего, кроме отрицания необходимости поисков смысла жизни, поскольку это всего лишь «абстрактная идея», «логическое оправдание всему», неспособное, однако, заставить человека «совершить какой бы то ни было поступок» (3, 140). В этом отношении он напоминает идейного демиурга «Вечера у Клэр» дядю Анатолия. Возникает впечатление, что именно о Павлове (или об одном из героев Достоевского) говорил этот персонаж, рассказывая о своем «очень близком товарище», «студенте», который «все спрашивал» его «о смысле жизни» «перед тем, как застрелиться»: «...зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования. (...) Ведь от смерти мы не уйдем» (1, 117). И ответ дяди Анатолия этому студенту оказывается так же неубедителен, как и реакция героя-рассказчика «Черных лебедей»: «Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах жизни и будь счастлив» (1, 117).

Вообще диалог дяди с племянником в «Вечере у Клэр» звучит явным отголоском чеховской «Скудной истории». Ср.: «Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю» («Вечер у Клэр») и «Ради истинного Бога, скажите скорей, сию минуту, что мне делать? (...) Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я. (...) По совести, Катя, не знаю».¹⁷ И учитывая, что Газданов был хорошо знаком с шестовским истолкованием Чехова в экзистенциальном ключе и вполне его разделял, это вряд ли случайно.¹⁸

В «Черных лебедях» герой-рассказчик не только не находит, что сказать, что бы заставить Павлова отказаться от своего намерения, но, более того, сам оказывается зачарован его убеждением в том, что все самые лучшие мечты реализуются, как только человек пересекает смертную черту: «В сущности, я уезжаю в Австралию, — сказал он. Я вышел на улицу, было утро, уже началась обычная жизнь: я смотрел на проезжавших и проходивших мимо меня людей и думал с испуганием, что они никогда не поймут самых важных вещей; мне казалось в то утро, что я их только что услышал и понял, и если бы эта печальная тайна стала доступна всем, мне было бы тяжело и обидно» (3, 142).

¹⁷ Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1985. Т. 7. С. 309.

¹⁸ «...В смысле полной безотрадности, полного отсутствия надежд и иллюзий — с Чеховым, мне кажется, нельзя сравнить никого, — полагал Газданов. — Он как бы говорит: вот каков мир, в котором мы живем... Исправить ничего нельзя. Мир таков, потому что такова человеческая природа» (Газданов Г. О Чехове. С. 309). Ниже Газданов прямо ссылается на известную статью Шестова «Творчество из ничего»: «Лев Шестов, кажется, сказал, что все, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное» (Там же. С. 313). Ср. у Шестова: «Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее — переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. (...) В руках Чехова все умирало» (Шестов Л. Начала и концы. Сб. статей. СПб., 1908. С. 5—6).

Это не слишком напоминает самого Чехова, но очень похоже на истолкование его Шестовым — хотя бы той же «Скучной истории»: «...настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек. (...) Он всюду вносит смерть и разрушение».¹⁹ Еще более созвучно это книге Шестова «На весах Иова», в особенности его экзистенциальному истолкованию русских писателей, от Гоголя до Толстого, сквозь призму философии Плотина: «„Наша отчизна — та страна, из которой мы пришли сюда; там живет наш Отец“». Так говорит Плотин, так думал и чувствовал Гоголь: только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни. В этом же смысл „Записок сумасшедшего“ Толстого...» (с. 103). «Печальная тайна», которую понял герой Газданова, очевидно, состоит в том, что только освобождение человека от его собственного тела позволяет ему осуществить все те мечты, которые он напрасно пытался бы реализовать при жизни: «Порфирий нам рассказал, что Плотин стыдился своего тела, — неужели можно думать, что живи он в эпоху, когда произвол облачался в видимость справедливости и законности, ему бы зависимость от тела казалась менее постыдной?» (с. 349).

В особой главе книги «На весах Иова» «Неистовые речи (Об экстазах Плотина)» Шестов подробно прослеживает источники и значение этой идеи: «Еще задолго до Плотина — под влиянием Платона, и еще более под влиянием циников и стоиков, в древнем мире назревало убеждение, что „тело“ есть источник зла на земле. Плотин, по-видимому, первый из языческих философов, принял это убеждение целиком, без всяких оговорок и передал его от себя средневековой, как принцип, не подлежащий ни сомнению, ни пересмотру. Есть все основания думать, что этот принцип являлся условием возможности проникновения христианства в культурный греко-римский мир» (с. 341).

Предстоящее расставание с его собственным телом не вызывает особых эмоций у Павлова, зато оно рождает сожаление в душе героя-рассказчика «Черных лебедей»: «Но я жалел о том, что через некоторое время перестанет двигаться и исчезнет из жизни такой ценный и дорогой, такой незаменимый человеческий механизм...» (3, 140—141). И еще прямая ремарка, которая обнаруживает в рассказчике естественный человеческий отказ примириться со стоицистским обесцениванием человеческой плоти: «...и ни на одну минуту я не мог забыть, что Павлов приговорен к смерти и что никакие силы не спасут его, и его голос, который тогда звучал и колебался, так и пропадет без отклика, так и заглохнет в этом теле, которое станет трупом» (3, 141).

То, что Павлов, «в сущности, уезжает в Австралию», — разумеется, почти цитата из Свидригайлова. Однако гораздо важнее замены Америки на Австралию — наполнение героем Газданова идеи смерти, относительно которой у Свидригайлова с его специфическими представлениями о потусторонней жизни никаких иллюзий не было,²⁰ тем особым мистическим восторгом, которым Плотин заразил Шестова.²¹ Намерение покончить с собой, которое Свидригайлов имеет в виду, говоря о

¹⁹ Там же. С. 39. «Безнадежность» Шестов истолковывает как фактор экзистенциального «пробуждения»: «Безнадежность — торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. До сих пор нам помогали — теперь мы предоставлены только себе» (*Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления // Шестов Л. Собр. соч. СПб., 1911. Т. IV. С. 84). Характерно, что в романе «Призрак Александра Вольфа», передавая рассказ Елены Николаевны о ее увлечении Вольфом, герой-рассказчик почти дословно повторяет слова Льва Шестова о Чехове, впоследствии приведенные Газдановым в его статье: «...ей казалось, что *всё* улавливает» (2, 79—80). Ср.: «...переберите *все* слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают» (*Шестов Л.* Начала и концы. С. 5. Курсив мой. — С. К.).

²⁰ Ср.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Л., 1989. Т. 5. С. 272, 473, 474.

²¹ Скорее всего, именно с выходом книги Шестова связано и обращение к экзистенциальным мотивам В. В. Набокова. Так, его рассказ «Пильграм», как и «Черные лебеди», вероятно, написан под впечатлением от чтения «На весах Иова». Восходящий к Свидригайлову мотив — «самоубийство как отъезд в другую страну» — переосмыслен здесь в духе шестовской трактов-

своем якобы предстоящем отъезде на другой континент, у Газданова, как и у Шестова, оказывается и в самом деле дверью в иное, лучшее существование.

Из других рассказов Газданова экзистенциальные мотивы сколько-нибудь ощутимо представлены лишь еще в одном — «Освобождении» (1936), герой которого Алексей Степанович, «инженер и состоятельнейший человек» (3, 360), имеет явные черты сходства с героями позднего Толстого: «И только с Анатолием Алексеем Степанович еще шутил и чувствовал себя легко, избавляясь на несколько часов от того чувства непобедимого отвращения ко всему, которым была заполнена его жизнь и о котором ни он, ни доктора не говорили ни слова, хотя именно этот вопрос был самым важным и самым страшным» (3, 365). Как и герой-рассказчик «Вечера у Клэр», он отравлен смертями близких ему людей: «Алексеем Степановичем казалось тогда, что и он, в сущности, умер для всего, и так нелепо чудовищно и неподвижно глядели на него все привычные предметы — стол, кровать, кресло, — потерявшие свой прежний смысл, как все существующее» (3, 368).

Как и герой толстовских «Записок сумасшедшего», он испытывает нечто родни «арзамасскому ужасу» самого Толстого: «Напрасно он убеждал себя, что мир не может быть таким, что есть любовь, самопожертвование и непостижимая красота звуков и видений; но все это было недоступно его чувству и, следовательно, не существовало» (3, 373). И может быть, лишь заглавие и финал рассказа определенно говорят о тематической зависимости уже не только от самого позднего Толстого (внимание к которому в эмиграции, впрочем, было привлечено не кем иным, как Шестовым),²² но и от его интерпретации русским философом. Смерть, как ни неожиданно она приходит, оказывается желанной («Здесь бы хорошо умереть, — подумал он однажды» — 3, 379) и «освобождает» от дальнейших тягостей жизни.

Говоря о рассказах «Превращение», «Черные лебеди» и «Освобождение», нелишне отметить, что экзистенциальная позиция в них все же характерна в основном для объективированных персонажей, а герой-рассказчик солидаризируется с ней не полностью. То, что экзистенциальная позиция газдановских героев в большей степени предмет изображения, чем точка зрения самого автора, находит опору и в том обстоятельстве, что прототипом Павлова, по-видимому, был увлекавшийся Шестовым Б. Поплавский.²³ Вообще критика и даже отказ от экзистенциального сознания проявляется в творчестве Газданова едва ли не раньше, чем само это со-

ки смерти как двери в иную жизнь, где осуществляются все мечты. Первая часть шестовской книги, посвященная Достоевскому, открывается и заканчивается словами Эврипида, в которых Шестов усматривает «смысл всех творений Достоевского»: «Кто знает, — может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь» (с. 25, 93). Очевидно, этим в какой-то степени объясняется то, что Газданов считал «Пильграм» «лучшим рассказом, появившимся в русской литературе за последние лет пятнадцать, во всяком случае, самым законченно-совершенным» (*Газданов Г.* Литературные признания // Литературная учеба. 1996. Кн. 5—6. С. 90; впервые: Встречи. 1934. № 6). Тот же шестовский мотив присутствует у Набокова в разных преломлениях и в «Защите Лужина», и в «Соглядатае», и в «Отчаянии», и в «Приглашении на казнь».

²² На этот счет существует свидетельство В. С. Яновского: «В эмиграции Шестов „открыл“ „Записки сумасшедшего“ Толстого и его же „Хозяина и работника“, он представил эти рассказы Толстого с такой проникновенной зоркостью, что мы все заговорили об „арзамасском“ ужасе как о хорошо знакомом нам и близком явлении» (*Яновский В. С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 159). Свидетельство это подтверждается многочисленными другими, например оценкой Г. В. Адамовича: «Из всего написанного о Толстом у Шестова наиболее интересные — и отменные какой-то заразной, кровной страстностью — размышления о „Записках сумасшедшего“, короткой посмертной толстовской повести» (*Адамович Г. В.* Одиночество и свобода. СПб., 1993. С. 140).

²³ Об этом см.: *Орлова О.* Газданов // Возвращение Гайто Газданова. С. 158. Впрочем, в Павлове, несомненно, присутствуют и некоторые автобиографические моменты, связанные с работой на фабрике, учебой в Сорбонне и др. О значении книги Шестова «На весах Иова» для Б. Поплавского см.: *Семенова С.* Русская религиозно-философская мысль и пореволюционные течения 1930-х годов в эмиграции // Гачева А., Казнина О., Семенова С. Философский контекст русской литературы 1920—1930-х годов. М., 2003. С. 312.

знание. Причем этот отказ пронизывает не только «Призрак Александра Вольфа», но и «Ночные дороги» (1938).²⁴

Что из экзистенциальных мотивов сохранилось у Газданова и в позднем творчестве — так это усвоенное от Шестова и Ницше²⁵ отрицание всякой идеологии и универсальных рецептов,²⁶ в особенности перед лицом ежеминутной вероятности смерти. Оно отчетливо выражено еще в «Вечере у Клэр». Позиция дяди Виталия (совет: «Никогда не становись убежденным человеком...»); отрицание возможности адекватного постижения реальности: «...смысл — это фикция, и целесообразность — тоже фикция» — 1, 116) обнаруживает в нем последователя автора опубликованного еще в 1905 году «Апофеоза беспочвенности».

Мысль эта проходит через «Апофеоз беспочвенности» красной нитью начиная с «Предисловия»: «...твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека, и... после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой». Не раз она иллюстрируется примерами из Чехова и в концентрированной форме выражена в разделах, озаглавленных «Точка зрения» и «Убежденная женщина». ²⁷ Присутствует эта мысль и едва ли не во всех сочинениях Шестова.²⁸

Жизнь в понимании дяди Анатолия — это всего лишь череда ошибок, каждая из которых попеременно представляется истиной: «Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни» (1, 116). Эта же концепция жизни положена в основу «Полета» (1939): «И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается глубочайшая сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены, таким образом, на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира... так же случайны и, в сущности, почти всегда неудачливы, как все остальное» (1, 458). «Единственная и неопровержимая реальность, которую мы знаем», постоянное присутствие которой всюду «и во всем делает заранее бесполезными... попытки представить ежеминутно меняющуюся материю жизни как нечто, имеющее определенный смысл», по Газданову, «называется смерть» (1, 458).

²⁴ См.: *Кибальник С. А.* Указ. соч. С. 67—68.

²⁵ В свою очередь, Шестов в какой-то степени испытал влияние Ф. Ницше с его последовательным отрицанием всей предшествовавшей догматической философии. Ср. шестовскую характеристику немецкого мыслителя: «Ницше не пропускает случая помянуться над тем, что называется прочностью убеждения» (*Шестов Л.* Достоевский и Ницше. СПб., 1903. С. 180); «Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готовым ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше» (*Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. С. 26).

²⁶ «Все разновидности экзистенциализма, — отмечает Е. Коссака, — отрицают априорные, связывающие и ограничивающие личность общие формулы. Далее следует отрицание идеологии общих целей и универсальных средств, ведущих к этим целям...» (*Коссака Е.* Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980. С. 51).

²⁷ *Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. С. 27, 8, 109, 150—151, 179—180. Отражение работ Шестова уже в раннем творчестве Газданова тем более вероятно, что писатель еще в юности познакомился с философской классикой, которая сохранилась в домашней библиотеке его отца (см. об этом: *Орлова О.* Газданов. С. 23).

²⁸ В связи с этим Н. А. Бердяев в статье «Трагедия и обыденность» писал о «своеобразной гносеологической утопии» Шестова: «отрицании познавательной ценности обобщения, абстракции, синтеза и в конце концов всякой теории, всякой системы идей, обличении их как лжи и стремлении к какому-то новому познанию индивидуальной действительности, непосредственных переживаний, воспроизведению живого опыта» (*Бердяев Н. А.* Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 222).

Даже когда его герой обретает идею, исключющую, кажется, существование в мире «силы, которая могла бы его остановить», как в «Пилигримах» (1953—1954), то тут же оказывается, что такая сила все же есть, и это все та же смерть. Рассказ о смерти Фреда в финале романа вводится такими словами: «Но он не мог знать, что для этого понимания и выполнения того, что было теперь его главной целью, и для жизни в этом новом, блистательном мире у него не оставалось времени...» Жизнь оказывается здесь лишь коротким перерывом в несуществовании: «...мертвые его глаза прямо и слепо смотрели перед собой — в то небытие, из которого он появился и которое вновь сомкнулось над ним в холодной и безмолвной тьме» (2, 432, 431). Если в первой части романа «Эвелина и ее друзья» (1968—1971) герой-рассказчик, казалось бы, исповедует позицию, близкую автору, то в финале романа эта позиция оказывается ошибочной.

В целом же творчество Газданова начиная с 1950-х годов имеет скорее явную антиэкзистенциалистскую интенцию. Ведь романы «Пилигримы» и «Пробуждение» — это реабилитация «всемства», того «среднего человека», которому экзистенциалисты отказывали в духовности. В контексте экзистенциальной литературы заглавие романа Газданова «Пробуждение», например, может иметь только полемический смысл, так как сам роман совсем не об экзистенциальном «пробуждении» человека в смысле осознания невозможности продолжать жить жизнью «среднего человека», а, напротив, о том, как такой «средний» человек выхаживает и буквально возвращает к жизни другого человека. Если в позднем творчестве Газданова все же имеются точки соприкосновения с экзистенциальной литературой и мыслью, то преимущественно в ее моралистическом и оптимистичном варианте, который мы находим у Г. Марселя.

Еще Поплавский в пору наибольшего увлечения Газданова экзистенциальными мотивами отмечал, что они тем не менее играют далеко не центральную роль в его творчестве: «Проблема смерти стоит на первом плане у Сосинского, Сирина, Яновского — у всех без исключения „молодых“ поэтов. Проблема исчезновения всего — у Газданова, Шаршуна, Варшавского и Фельзена».²⁹ Основная метатема творчества Газданова обозначена здесь иначе: как разрушение цельности сознания современного человека, подверженного метемпсихозу, что сближает героев-рассказчиков газдановских произведений не столько с экзистенциализмом, сколько с буддизмом.³⁰ Однако и эта особенность современного сознания в большинстве романов Газданова представлена (наиболее целенаправленно в «Возвращении Будды» — в «Эвелине и ее друзьях» уже в откровенно пародийных тонах) как болезненное отклонение.

²⁹ Поплавский Б. О смерти и жалости в «Числах» // Новая газета. 1931. 1 апр.

³⁰ Несмотря на некоторое генетическое родство экзистенциализма и буддизма (см. об этом: Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур. СПб., 2001), все же они представляют собой принципиально разные явления. Впрочем, есть еще один и, вероятно, основной источник этой темы у Газданова — мотивы власти воображения и памяти у М. Пруста (ср. хотя бы начальные строки романа «В сторону Свана» и тему «вечного возвращения» у Ф. Ницше).